

ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

УДК 821.161.1

DOI: 10.31249/litzhur/2021.52.05

С.А. Шульц

© Шульц С.А., 2021

ПУШКИН В РОМАНЕ ДОСТОЕВСКОГО «ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»

Аннотация. Через экстраполирование «Пушкинской речи» Достоевского на формирование художественного смысла романа «Записки из Мертвого дома» рассмотрено преломление в романе мотивов пушкинских текстов «Узник», «Братья разбойники», «Капитанская дочка» и др. Идея свободы / воли у Достоевского шире внешних ее форм. Достоевский ценит прежде всего воспетую Пушкиным «тайную свободу». Поэтому идея наказания признается Достоевским благотворной, ведущей к «прозрению» «народной правды». Рассмотренные пушкинские аллюзии участвуют в формировании философско-символического уровня романа, открывающегося читателю не сразу и поверх фактографического правдоподобия.

Ключевые слова: Пушкин; Достоевский; антиномия свободы и неволи.

Получено: 10.02.2021

Принято к печати: 12.03.2021

Информация об авторе: Шульц Сергей Анатольевич – доктор филологических наук, независимый исследователь, Ростов-на-Дону, Россия.

E-mail: s_shulz@mail.ru; shulcz-70@mail.ru

Для цитирования: Шульц С.А. Пушкин в романе Достоевского «Записки из Мертвого дома // Литературоведческий журнал. 2021. № 2(52). С. 74–85. DOI: 10.31249/litzhur/2021.52.05

Sergei A. Shulz
© Shulz S.A., 2021

PUSHKIN IN DOSTOEVSKY'S NOVEL «NOTES FROM THE DEAD HOUSE»

Abstract. The article shows the traces of Pushkin's «Prisoner», «Brothers-Thieves», «Captain's Daughter», etc. in Dostoyevsky's «Notes from the Dead House» through the extrapolation of the writer's «Pushkin Speech» to the formation of artistic meaning of the novel. Dostoyevsky's idea of freedom / will exceeds its external forms. Dostoyevsky appreciates above all the «secret freedom» praised by Pushkin. Therefore, the idea of punishment is recognized by Dostoyevsky as beneficial, leading to the «insight» of «folk truth». The considered Pushkin's allusions participate in the formation of the philosophical and symbolic level of the novel, which is not immediately revealed to the reader and is not connected with the factual plausibility.

Keywords: Pushkin; Dostoevsky; antinomy of freedom and imprisonment.

Received: 10.02.2021

Accepted: 12.03.2021

Information about the author: Sergei A. Shulz – Doctor of Science in Philology, independent scholar, Rostov-on-Don, Russia.

E-mail: s_shulz@mail.ru; shulcz-70@mail.ru

For citation: Shulz S.A. Pushkin in Dostoevsky's novel «Notes from the Dead house». *Literaturovedcheskii zhurnal*, no.2(52), 2021, pp. 74–85. (In Russ.) DOI: 10.31249/litzhur/2021.52.05

В художественной структуре романа Достоевского «Записки из Мертвого дома» просматривается несколько смысловых уровней. По замечанию К.В. Мочульского, «Верхний пласт «Записок» – художественное описание фактов; средний – психологическое их истолкование с помощью идей свободы и личности; нижний – метафизическое исследование добра и зла в душе человека» [7, с. 312]¹.

В.А. Туниманов обнаруживает четыре плана «Записок...»: первый из них исповедально-биографический, второй – аналитический, третий представляет очерки быта и нравов (этот пласт В.А. Туниманов почему-то называет «этнографическим», хотя оче-

¹ Здесь и далее курсив в цитатах принадлежит авторам цитируемых работ.

видно, что речь идет об этологии, нравоописании вообще), четвертый же уровень – истории, рассказанные каторжниками [17, с. 193].

То, что для К.В. Мочульского – пласт «метафизического исследования», а для В.А. Туниманова – аналитический план, в целом относится к философско-символическому уровню произведения. Насыщенный фактографией, подчеркнуто «документальный», роман обнаруживает внутри себя своеобразный «антитекст» в виде философско-символических обобщений. Последние, впрочем, не образуют полной связности ввиду доминирования фактографии.

Символика романа, помимо Нового Завета (идея воскресения из мертвых), соотнесена с различными культурными и социальными контекстами, в том числе с Данте (изображение «ада»), с декабристами (и с топикой политического преступления вообще), с Пушкиным (в последнем случае – едва ли не продуманный арсенал аллюзий).

И.П. Смирнов полагает, что роман показывает не просто отчуждение между людьми, но еще более углубленное: «отчуждение-в-отчуждении» [13, с. 73–96]². Имеется в виду разобщенность арестантов, их противостояние не только социуму за стенами острога, но и отсутствие «солидарности» изнутри самого их сообщества. В таком аспекте справедливо также сближение острога с «фурьеристским фаланстером» как видом насильтственного объединения (и видом антиутопии) [8].

Однако каторга становится местом встречи дворян и людей из народа, что способствует попытке преодоления идущего, по мнению Достоевского, от Петра I раскола русского общества на образованный слой и остальной народ. Через внутреннюю рефлексию отдельных героев, через последующее осмысление ими событий так или иначе обретается искомый диалогический смысл.

В позднейшей «Пушкинской речи» Достоевский связывает начало преодоления раскола образованного слоя и остальной части народа с фигурой Пушкина как «великого народного писателя», «отметившего» «самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества» [2, XXVI, с. 143]. По словам Достоевского, «в Пушкине <...> есть именно что-то сроднившееся с на-

² И.П. Смирнов считает, что полемизируя в «Записках...» с Л. Фейербахом, Достоевский полемизирует с философией как таковой. Но для такого вывода нет ни логических, ни фактических оснований.

родом *взаправду*, доходящее в нем почти до какого-то простодушнейшего умиления» [2, XXVI, с. 144]. Хотя Ю.Н. Чумаков назвал «Пушкинскую речь» идеологизированной и не согласился с подходом Достоевского к поэту [18, с. 43], она принципиальна в виде свидетельства ценностных опор романиста (ср.: [14]).

Несмотря на то что фактически в «Записках...» дворяне и простолюдины отчуждены друг от друга, их сближение происходит на сверхэмпирическом уровне; Н.М. Перлина справедливо считает ключевой в фиксации этого последнюю главу первой части романа, «Представление» [9, с. 172].

Подразумеваемая в подтексте романа фигура Пушкина выступает для Достоевского принципиальным толчком к сближению – так это видится через экстраполяцию «Пушкинской речи» на текст «Записок...». Оно показано прежде всего через прозрение «народной правды» повествователем / автором. Для Достоевского Пушкин – олицетворение поиска «внебесубъективного» «смысла жизни и мироустройства» [19, с. 124].

Аллюзии на Пушкина просматриваются в таких ключевых символических образах «Записок...», как образ дома, образ орла, условный образ свободы и независимости в сочувствии к «падшим», если воспользоваться словами Пушкина из его оды «Памятник» [12, III, с. 340]. В образе «падших» поэт подразумевал в том числе декабристов [21], а Достоевский в качестве объекта аналогичного сочувствия имел в виду обитателей «Мертвого дома». В написанном десятилетием раньше «Памятника» стихотворении «Во глубине сибирских руд...» Пушкин говорил о том, что «скорбный труд» декабристов и их «дум высокое стремленье» не пропадут. Однако различия оценок в двух процитированных текстах нет: поэт развивает, уточняет свою мысль.

По замечанию Ю.М. Лотмана, «в поэзии Пушкина второй половины 1820–1830-х годов тема Дома становится идейным фокусом, вбирающим в себя мысли о культурной традиции, истории, гуманности и “самостоятельный человека”» [5, с. 265]. В мифо-фольклорном аспекте образ дома – средоточие жизни, защищенной от неокультуренной внешней среды, генератор смыслов человеческого существования. Называя каторгу «Мертвым домом», Достоевский создает амбивалентный и оксюморонный образ-символ: категории, составившие словосочетание, отрицают друг друга.

В связи с подобной амбивалентной символикой возможны также параллели к заглавию романа «Холодный дом» Ч. Диккенса (1853), также имеющему символический характер.

Каторжный дом, сохраняя видимое значение кровя и человеческого единства, превращается в антидом, где единство – только вынужденное. Хотя в чем-то острог остается домом в неискаженном значении – местом испытания, узнавания определенной истины о человеке и мире. «Мертвый дом» напоминает о «лесном доме» древнего обряда посвящения, задавая преходящий характер смерти. Тем самым намечен инициальный смысл: через временную смерть, через испытания – к воскресению³. Финал романа выводит к христианской топике воскресения и новой жизни.

Адъектив «мертвый» напоминает не только об аде, но и о топике народной обрядовой поэзии, где «переселение человека <...> в новый дом уподобляется смерти. И наоборот, гроб (домовина) рисуется в похоронных обрядах и причитаниях как жилище, в которое человек переселяется после смерти» [15, с. 168]. На основе этого в романе продолжена мифopoэтическая тема посвящения-инициации и вместе с тем смещение границы между живым и мертвым.

Важная деталь дома – порог; Бахтиным показано, что ситуация «на пороге» – константный мотив Достоевского. Данный мотив, в частности, свидетельствует о времени «последних мгновений сознания» «коллектива» каторги – ведь в остроге, этой карнавализованной преисподней, «в условиях фамильярного контакта оказываются люди разных положений, которые в нормальных условиях жизни не могли бы сойтись на равных правах в одной плоскости» [1, с. 194–195].

Аллюзивный план «Записок...» включает в себя отголоски поэмы Пушкина «Братья разбойники». Пушкинское описание разбойничьей шайки напоминает по своему составу карнавализованный «Мертвый дом» Достоевского:

Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний [12, IV, с. 125].

³ В этом же смысле евангельского эпиграфа к «Братьям Карамазовым», где амбивалентная символика дома также станет одной из основных.

В варианте «Братьев разбойников» присутствует фраза, практически дословно напоминающая оборот из романа Достоевского. Пушкин:

На миг утихшая беседа
Вновь оживляется вином;
У каждого своя есть повесть [12, IV, с. 381].

Достоевский: «Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. <...> А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля» [2, IV, с. 11].

Намеченная у Пушкина романтизированная трактовка разбойничества в качестве «бунтарства», «удали», индивидуалистического «вызыва» обществу (ср. также образы Дубровского или Пугачева) – у Достоевского косвенно затронута, хотя и редуцирована. Для Достоевского актуально намеченное в «Братьях разбойниках» «освобождение поэзии от условного морализма» [11, с. 133]: автор / повествователь «Записок...» стремится оценивать события вне прямого и буквального осуждения, принимая во внимание прежде всего их исторический или, точнее, историософский фон, т.е. исходя из восприятия движущегося смысла истории в качестве основы понимания. В таком аспекте «Записки...», имеющие временное отстояние события наррации от описываемых фактов, – «историософский роман»⁴ (отчасти подобно «Капитанской дочке»; о параллелях к ней см. далее).

Эпизод «Записок...» с раненым орлом, отпускаемым арестантами на волю, несет отсылку к пушкинскому стихотворению «Узник». К.В. Мочульский увидел в данном образе – символе романа воплощение идеи свободы [7, с. 311]. Аналогичное наполнение, как известно, – у пушкинского образа:

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном [12, II, с. 120].

⁴ Термин Е.Ю. Полтавец.

Идея свободы превращается у Пушкина в романтический вызов отягчающим оковам, не только политическим, но вообще эмпирическим, вплоть до уподобления мечтающих о высвобождении героев стихийным силам, в частности «гуляющему» ветру.

По замечанию В.А. Кошелева, «“Узник” стал народной песней во второй половине XIX века; его напев возник на основе песенной традиции русской каторги. Но в песне образ орла, “вскормленного в неволе”, был переделан на более типическое: *вскормленный на воле*. Тем самым <...> “орел молодой” оказался свободным и противопоставлен заключенному “в темнице сырой” узнику» [4, с. 264–277]. Для художественной реальности «Записок...» это означает актуализацию, через аллюзию на «Узника» и особенно (*sic!*) на его фольклорную вариацию⁵, смысловой антиномии «воля» и «неволя», а также, в большей степени, идеи сочувствия заключенным.

Последнее еще более явственно на фоне комментария Е.А. Тудоровской по поводу фольклорного варианта окончания «Узника»: «...призыв к освобождению заменился призывом к страданию; борца за свободу сменил несчастный заключенный. Это бессилие мечты о свободе характерно скорее всего для жанра “тюремных” фольклорных песен, к которым, вероятно, и принадлежит народная переделка “Узника”» [16, с. 73]. В «Записках...» объект императива сострадания – все арестанты, но в первую очередь автобиографический образ Горянчикова.

С другой стороны, в романе довольно четко намечен мотив признания повествователем / автором справедливости наказания. Ведь последнее идет от государственно-властных институций, вес которых для Достоевского после его осуждения по делу петрашевцев становится неотрывен от сакрализованной им наличной формы конкретного социально-политического строя, вообще от сакрализованной им наличной социальности. В опоре на последнюю рождается художественный смысл также «Преступления и наказания».

Образ орла в «Записках...» в контексте идеи политического преступления и поиска свободы несет непосредственную отсылку к «сказке калмычки», рассказываемой в «Капитанской дочке» Пу-

⁵ Ср.: [3]. Здесь не обращено внимание на роль для «Записок...» именно фольклорной вариации «Узника».

гачевым Гриневу: «Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-нá-все только тридцать три года? – Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат ворон, чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! – Какова калмыцкая сказка?

– Затейлива, – отвечал я ему. – Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал» [12, VI, с. 337–338].

Е.Ю. Полтавец, справедливо называя сказку Пугачева «наставлением» и «притчей», считает ответ Гринева, осуждающего «убийство и разбой», «кульминацией философского диалога» [10, с. 111]. Однако Гринев совсем не упоминает о желании орла («чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью»), а ведь пафос высказывания Пугачева-«орла» – в стремлении «напиться живой кровью». Тем самым Гриневым так или иначе признается право орла. Реплика о «живой крови» в «Капитанской дочке» перекликается с образом «кровавой пищи» орла из «Узника», благодаря чему оба взаимосвязанных пушкинских текста у Достоевского смыкаются в топике политического преступления, поисков воли и свободы, а также в топике романтизированной разбойничьей удали, противопоставляющей себя наличному социуму. Косвенно в «Записках...» политический бунт – в реплике о декабристах прежде всего (см. далее) – вне прямого осуждения.

Р.Я. Клейман бегло обратила внимание на перекличку мотива «кровавой пищи» с константным обличительным мотивом Достоевского «кровь по совести» [3, с. 125], однако названные мотивы разнятся уже по причине того, что в одном случае кровь – необходимая и естественная для «орла» пища («Узник»; «сказка калмычки»), а во втором случае – мнимая совесть оправдывает пролитие крови для полностью лицемерных целей (нигилисты Достоевского).

После ответа Гринева следует описание молчаливой реакции собеседника: «Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал». Реакция Пугачева входит в контекст частых у Пушкина эпизодов «безмолвствования», «молчания», смысл которых многозначен. Гринев уходит от официального / официозного взгляда полного осуждения Пугачева, а Пугачев – от стремления к расправе над всяkim дворянином. Гриневский ответ и пугачевская реакция свидетельствуют о том, что стороны по-своему пытаются расслышать и понять друг друга, пытаются учитывать позиции друг друга (а только такой диалог является настоящим, согласно М.М. Бахтину). Поэтому точнее говорить не о «духовном противостоянии» Гринева и Пугачева [10, с. 111], а об их попытках понять и признать друг друга также в части несовпадения мнений (что отметила еще М.И. Цветаева [20]). Отсюда поддержка героями друг друга.

Особое место среди соотнесенных с Пушкиным мотивов занимает описанный Ю.М. Лотманом двуединый, внутренне антиномичный образ «дворянина / разбойника», способный в развитии повествования «распадаться» на две отдельные составляющие. Долго занимавший Пушкина образ разбойника развивался у поэта «рука об руку с фигурой не лишенного автобиографических черт персонажа высокого плана, представавшего в облике то байронического героя, то петербургского денди, то преображаясь в дворянина XVIII столетия» [6, с. 238]. Образы дворянина и разбойника то поляризуются, то объединяются в образ «благородного разбойника». Таков, например, Дубровский, таков отчасти Германн.

К такому типу принадлежит Горянчиков, чье уголовное преступление «постепенно стирается из текста “Записок…”, превращаясь в политическое» [13, с. 94]. Карнавализация осторожного коллектива делает закономерной «встречу» полюсов «джентльмен / денди / дворянин» и «разбойник». Политические преступники у Достоевского претендуют на роль «благородных разбойников». О декабристах в романе сказано хотя не прямо, но почтительно-внятно: «<...> уже давно, еще лет тридцать пять тому назад, в Сибирь явилась вдруг, разом, большая масса ссыльных дворян, и эти-то ссыльные в продолжение тридцати лет умели поставить и зарекомендовать себя так во всей Сибири, что начальство уже по старинной, преемственной привычке поневоле глядело в мое

время на дворян-преступников известного разряда иными глазами, чем на других ссыльных» [2, IV, с. 212].

О рецепции Достоевским пушкинских оценок декабристов свидетельствует употребленное в романе особо построенное и особо коннотированное слово из «Во глубине сибирских руд...» – «дружество»:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы... [12, III, с. 7].

Вот в каком семантическом ореоле появляется данное слово у Достоевского: «Проявлялось что-то вроде дружества. <...> между арестантами почти совсем не замечалось дружества, не говорю общего, – это уж подавно, – а так, частного <...>. Этого почти совсем у нас не было, и это замечательная черта: так не бывает на воле» [2, IV, с. 107]. В цитате противопоставлено осторожное «что-то вроде дружества» и «дружество» «на воле». Аллюзии на «Во глубине сибирских руд...» получают в романе развитие также в антиномии образов свободы и каторги.

Идея свободы, в которой К.В. Мочульский видит центральную мысль «Записок...», у Достоевского лишена буквальности, шире внешних ее форм. Достоевский ценит прежде всего воспетую Пушкиным «тайную свободу», о которой говорил в стихотворении «Пушкинскому Дому» и А.А. Блок. Вот почему идея наказания при апологии так понятой свободы признается Достоевским благотворной (справедливо констатируют некое оправдание каторги Достоевским), ведущей к «прозрению» «народной правды» в том числе.

Рассмотренные пушкинские аллюзии участвуют в формировании философско-символического уровня романа, открывающегося читателю не сразу и поверх фактографического правдоподобия.

Список литературы

1. Бахтин М.М. Собрание сочинений. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. Т. 6. 800 с.
2. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972–1990.

3. Клейман Р.Я. Пушкинский «Узник» в художественном мире Достоевского: от реминисценции к константным мотивам // Пушкин и Достоевский. Материалы для обсуждения. Новгород Великий; Старая Русса, 1998. С. 124–126.
4. Кошелев В.А. О стихотворении «Узник» // Пушкин и его современники. СПб.: Академический проект, 2002. Вып. 3 (42). С. 264–277.
5. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М.: Языки русской культуры, 1996. 458 с.
6. Лотман Ю.М. Пушкин и «Повесть о капитане Копейкине». К истории замысла и композиции «Мертвых душ» // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 235–250.
7. Мочульский К.В. Достоевский. Жизнь и творчество // Мочульский К.В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М.: Республика, 1995. С. 219–549.
8. Недзвецкий В.А. «...В насильтвенном этом коммунизме...» («Записки из Мертвого дома» как социалистическая антиутопия) // Недзвецкий В.А. Статьи о русской литературе XIX–XX вв. Научная публицистика. Воспоминания. Нальчик: Тетраграф, 2011. С. 333–353.
9. Перлина Н.М. Тематическая композиция романа «Записки из Мертвого дома» // *Sub specie tolerantiae*. Памяти В.А. Туниманова. СПб.: Наука, 2008. С. 166–176.
10. Полтавец Е.Ю. Роман Пушкина «Капитанская дочка». 2-е изд. М.: МГУ, 2018. 168 с.
11. Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: НЛО, 1999. 462 с.
12. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: в 10 т. 4-е изд. Л.: Наука, 1977–1979.
13. Смирнов И.П. Отчуждение-в-отчуждении. «Записки из Мертвого дома» в контексте европейской философии 1840-х гг. (Фейребах и Со) // Смирнов И.П. Текстомахия: Как литература отзывается на философию. СПб.: Петрополис, 2010. С. 73–96.
14. Тарасов Ф.Б. Пушкин и Достоевский: евангельское слово в литературной традиции: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2011.
15. Топорков А.Л. Дом // Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. С. 168–169.
16. Тудоровская Е.А. Поэтика лирических стихотворений Пушкина. СПб.: СПБГУП, 1996. 210 с.
17. Туниманов В.А. Творчество Достоевского. 1854–1862. Л.: Наука, 1980. 298 с.
18. Чумаков Ю.Н. Поэтика «Евгения Онегина» // Чумаков Ю.Н. Пушкин. Тютчев. Опыт имманентных рассмотрений. М.: Языки славянской культуры, 2008. С. 17–53.

19. Фарыно Е. Клейкие листочки, уха, чай, варенье и спирты (Пушкин – Достоевский – Пастернак) // Традиции и новаторство в русской литературе (...Гоголь... Достоевский...). СПб., 1992. С. 124–165.
20. Цветаева М.И. Пушкин и Пугачев // Цветаева М.И. Собрание сочинений: в 7 т. М.: Элліс Лак, 1994. Т. 5. С. 498–525.
21. Шульц С.А. Пушкин – Гоголь: к метафизике внутреннего диалога // Гоголезнавчії студії. Гоголеведческие студии. Ніжин, 2017. Вип. 6 (23). С. 139–162.